

Энтони Графтон

## ИСТОРИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ХАРИЗМЫ. ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ

(Рецензия на книгу

*Уильям Кларк. Академическая  
харизма и возникновение*

*исследовательского университета.*

*Yale University Press, 2006)*

В последнее время поиск новой «актуальности» гуманитария в XXI веке становится все более интенсивным. Поэтому возрастает необходимость качественных исследований, которые анализируют сегодняшнее состояние университета в контексте его прошлого, когда ключевые фигуры университетской жизни – случайно или не случайно гуманитарии – во многом определяли образовательную «повестку».

В 1892 году на банкете в Берлине Марк Твен, сам не из последних знаменитостей, с трепетным восторгом наблюдал за тем, как тысячная толпа студентов «поднялась и закричала, и затопала ногами, и захлопала, и застучала пивными кружками», когда в помещение вошел историк Теодор Моммзен:

«Это был один из тех чудесных сюрпризов, какие случаются только несколько раз в жизни. Я и не мечтал об этом; Моммзен был для меня гигантским мифом, призраком, маячившим над миром, а не реальной фигурой. Охватившее меня изумление можно сравнить с чувством, которое испытал бы путник, идущий по знакомой равнинной местности – и вдруг наткнувшийся на Монблан, упирающийся вершиной в небо. Я готов был пройти много миль, чтобы увидеть этого человека хотя бы краем глаза, – и вот он стоит передо мной, хотя я не приложил для этого никаких усилий, и это действительно он, собственной персоной, без обмана. Моммзен был одет с обманчивой скромностью титана, так что его можно было принять за одного из нас. Этот человек двигался перед нами, неся в своем гостеприимном черепе всю Римскую империю, со всеми ее цезарями,



и делал это так легко и непринужденно, как другой сияющий свод, череп Вселенной, несет в себе Млечный Путь и другие созвездия».

Благодаря фантастической энергии и трудолюбию Моммзен (который опубликовал более полутора тысяч научных работ) стал героем не только в глазах ученых, но в представлении широкой публики; он был фигурой такого масштаба, что сегодня с ним просто некого сравнить. Первые три тома его «Истории Рима», опубликованные в 50-е годы XIX века и удостоенные в 1902 году Нобелевской премии по литературе, были бестселлерами на протяжении многих десятилетий. Кондукторы берлинских трамваев, завидев великого историка на улице, указывали на него, прислонившегося к фонарному столбу и что-то читавшего, и говорили: «Это знаменитый профессор Моммзен: он времени даром не теряет». При этом Моммзен был увлечен шумной современностью, переживавшей этап бурной индустриализации, не меньше, чем античным прошлым. В 1873 году он был избран членом прусской палаты депутатов, где примкнул к либералам; боролся против расизма, национализма и империализма, имел стычки с Бисмарком. Тем не менее Моммзен умел сотрудничать с правительством по вопросам, которые его действительно волновали. Он выступал за реорганизацию системы гуманитарных исследований, ориентируясь на стиль работы большого бизнеса своего времени – на такие компании, как Siemens и Zeiss, спонсировавшие научные изыскания, которые вывели Германию на позиции ведущего индустриального государства Европы. Исходя из потребностей крупных компаний, создавались возглавляемые выдающимися учеными исследовательские группы, деятельность которых была направлена на достижение конкретных результатов. Моммзен полагал, что «полномасштабная научная работа – не курируемая, но направляемая одним человеком – является необходимым элементом нашей культурной эволюции». Он добился поддержки общества в своем масштабном начинании: собрать большую – и до сих пор пополняемую – коллекцию античных надписей, состоящую из десятков тысяч экспонатов, которые показывают жизнь древних римлян, в том числе и повседневную, более ярко, чем любое литературное произведение. Он давал советы правительству Пруссии относительно академических назначений и помог превратить Берлинский университет и прусскую Академию наук в чрезвычайно престижные научные центры Запада – можно сказать, в Гарвард XIX века.

Деятельность Моммзена содействовала созданию типа уважаемого ученого, служащего образцом для подражания во всем мире. В Соединенных Штатах после Гражданской войны были созданы новые университеты – Clark, Johns Hopkins и Chicago, которые целенаправленно стремились достичь уровня Берлинского; для этого они становились исследовательскими центрами и вели конкурентную борьбу за привлечение научных светил. В 1892-м Чикагский университет, основанный всего за два года до этого, переманил историка Германна фон Хольста из Фрайбурга, пообещав ему оклад,



впятеро превышающий тот, который он получал у себя на родине. По всей стране в университетских городах и кампусах как грибы после дождя возникали новые лаборатории и библиотеки; этот процесс продолжался до тех пор, пока Великая депрессия и Вторая мировая война не привели к смене приоритетов. Период академического процветания, длившийся, с некоторыми перерывами, с 1880-х годов до настоящего времени, породил такие феномены, как «кампусный роман» и культурные войны; безусловно, это было – и есть – нечто большее, чем пародия на университетские нравы конца XIX века, когда престиж академии достиг своего апогея; во всяком случае, ученые светила борются сегодня за свои привилегии с такой же страстью, с какой Моммзен продвигал в свое время молодые таланты.

Но что общего имеет повестка дня современного, опирающегося на сильную исследовательскую базу университета с другими, всем известными сторонами жизни колледжа – со «студенческим братством», хорами, распеваящими «*Gaudeamus igitur*», и каменными фасадами викторианских готических зданий? Это сложносоставное наследие современного университета послужило предметом рассмотрения в новой книге с несколько оксюморонным заголовком «Академическая харизма и возникновение исследовательского университета», написанной Уильямом Кларком, историком, которому довелось поработать как в американских, так и в европейских вузах. Кларк полагает, что современный университет, с его страстью к исследовательской работе, выдающимся профессорам и – никуда не денешься – черным мантиям, сформировался в Германии в XVIII-XIX веках. Автор ведет исследование с аналитической строгостью, неодолимой любовью к архивным казусам и тонким чувством юмора. Трудно не поддаваться обаянию писателя, который приступает к работе следующим образом: «Это странная книга, что соответствует странности изучаемого предмета».

Повествование Кларка начинается со Средних веков. Организации, превратившиеся в первые западные университеты (прежде всего в Париже и Болонье), являлись отчасти ответвлениями церковных институций, а преподаватели были наделены определенной властью, поскольку восседали, как епископы, на тронах; вот почему мы до сих пор с почтением говорим о «профессорском кресле», «авторизованных» лекциях и «апробированных» текстах. «Лекция, как и проповедь, имеет литургический склад и ауру, – пишет Кларк. – Человек должен быть «помазан» на отправление ритуала, и он обязан действовать предписанным образом. Только в этом случае "кресло" придает харизму профессору, читающему лекцию». Кларк заимствует понятие «харизмы» (используемое им в широком, но достаточно четком смысле) у Макса Вебера, разработавшего теорию господства, которое претерпело в своем развитии три этапа – харизматический, традиционный и рациональный. Харизматическое господство, неистовое и разрушительное, происходит от «исключительной святости, героизма или уникальности характера индивида». Традиционное господство, удел королей и священников,



основано на обычае, поклонении «тому, что на самом деле или предположительно существовало в былые времена». Рациональное господство (последняя по времени возникновения форма) основывается на бюрократической процедуре, предполагающей разделение полномочий и следование точным правилам.

Как указывает Вебер, в реальных учреждениях эти различные формы господства перемежаются и сосуществуют. В средневековых аудиториях, при всем доминировании традиционной иерархии и порядка, вступила в действие противоположная сила – фактор «исхождения харизмы» от талантливых индивидов, например, во время диспутов, в ходе которых один участник отстаивает обсуждаемый тезис, а оппонент пытается его опровергнуть. (В отличие от лекции, диспут не выжил как институция, но его «пережитки» остались: вспомним, например, устную защиту тезисов кандидатской диссертации или процедуру юридических процессов.) Кларк называет диспут «одновременно театром военных действий, битвой, процессом и поединком»; и действительно, еще в Древнем Риме диспуты приравнивались к атлетическим поединкам.

Одним из первых «академических чемпионов» был парижанин Абельяр, который хитроумно использовал форму диспута для выявления «нестыковок» в христианской доктрине. Он четко сформулировал противоречащие одно другому мнения Отцов Церкви, присваивал им «имена» «Sic et Non» (Да и Нет) и приглашал всех желающих поспорить о том, на чьей стороне истина. Его славные победы в этих «битвах» сделали из него в каком-то смысле первого знаменитого «публичного интеллектуала». Учившаяся у него Элоиза писала Абельяру: «Каждая женщина, каждая молодая девушка желает вас заочно и пылает в вашем присутствии». Их история стала легендой благодаря тому, что за этим последовало: Элоиза, не будучи замужем, родила ребенка от Абельяра, и ее родственники в отместку его кастрировали; в конечном итоге любовники провели большую часть своей жизни в заключении. Но даже после того, как произведения Абельяра были осуждены церковью и сожжены, люди продолжали приезжать в Париж со всей Европы в надежде у него поучиться. За ним закрепилась магнетическая слава человека, способного переспорить самого дьявола.

С самого начала власть над университетом делили между собой труженики-традиционалисты и харизматические смутьяны. Однако главный интерес в повествовании Кларка сосредоточен не на Средних веках, а на периоде от Ренессанса – через эпоху Просвещения – до Нового времени, причем на том, что происходило не во Франции, а в немецких регионах Священной Римской империи. Этот сложный конгломерат маленьких государств и наполовину деревянных городов не имел столицы, которая могла бы соперничать с Парижем, но там сложились наилучшие условия для развития университетов благодаря простому механизму конкуренции. Немецкие власти понимали, что университет может извлечь выгоду из своего международного статуса. Каждый преуспевающий местный житель,



который оставался учиться у себя на родине, и каждый иностранный дворянин, приезжавший учиться из-за рубежа (как Гамлет, покинувший Данию, чтобы получить образование в саксонском Виттенберге), приносили дополнительный доход. А для того, чтобы привлечь как можно больше студентов, необходимо было модернизировать и рационализировать деятельность профессоров и студентов.

Эти немецкие территориально-политические образования называли себя «полицейскими государствами» (police states) – но не в смысле репрессивности, поясняет Кларк, а в том смысле, что они пытались «достичь хорошего управления (die gute Policey) земли путем мониторинга и регулирования поведения граждан при помощи бумажного делопроизводства». Поначалу Policey означала для университетов только то, что власти хотели иметь представление о намерениях профессоров. Бюрократы заставляли университеты печатать перечни курсов, которые предлагались студентам; можно увидеть в этом «раннесовременное» предвестие ярких гляцевых брошюр, торчащих из переполненных почтовых ящиков семей, где есть тинейджеры. Постепенно бюрократы выработали способы удостовериться в том, что профессора выполняют свои обязательства. В Вене, отмечает Кларк, «в 1556 году был принят декрет, согласно которому двум персонам должны были выплачивать деньги за ведение и предоставление в соответствующие органы записей о профессорах и содержании их лекций»; в Марбурге с 1564 года университетский педель составлял список «прогульщиков», пропускавших лекции, и предоставлял его ректору, взимавшему за это пени с нерадивого профессора. Требовалось также, чтобы профессора заполняли Professorenzetteln, форму, в которой учитывалась вся профессиональная деятельность преподавателей. Реакция ученых мужей на эти бюрократические требования была в прежние времена, как и теперь, неоднозначной: разные люди реагировали на них по-разному. Кларк воспроизводит на одной странице, для удобства сравнения, два Professorenzetteln образца 1607 года. Михаэль Мастлин, астроном и математик, учитель Кеплера и один из первых последователей Коперника во взглядах на строение мироздания, подробнейшим образом расписывает всю свою преподавательскую деятельность, в то время как Андреас Осиандер, теолог, чей дед был видным сподвижником Лютера, пишет одну скорбную фразу: «В толковании Евангелия от Луки я дошел до девятой главы».

У бюрократии есть своя логика, и власти стремились к цели, кажущейся вполне рациональной: получить результаты, которые можно было бы кодифицировать, рассортировать и объяснить своему начальству. Университеты постепенно видоизменялись под воздействием внутреннего и внешнего давления. Прежние диспуты со временем сошли на нет. На них уделялось все больше внимания формальным навыкам аргументации и все меньше – содержанию спора; в эпоху Барокко и тем более Просвещения они стали совершенно стерильными и превратились в фарс. (Как и нынешние факультетские совещания и курсы по писательскому творчеству, они



служили легкой добычей для тогдашних сатириков и острословов.) Вместо них в университетах были введены формальные экзамены – упражнения, тщательно распределенные по степеням сложности, за что отвечала администрация вуза. Кандидаты на докторскую степень должны были защитить напечатанную диссертацию. Кларк чудесно описывает эти сложные, иногда пугающие «упражнения». Когда Доротея Шлезер, дочь профессора, сдавала экзамены на степень доктора в Геттингене в 1787 году, она предстала перед комиссией, состоявшей из семи экзаменаторов. Из уважения к ее полу Доротею разрешили сесть не с другой стороны стола, напротив комиссии, а между двумя ее членами. Экзамен, один раз прервавшийся на чай, выявил множество профессорских причуд, вполне – и даже слишком – человеческих. Один экзаменатор «достал из кармана камень и попросил Доротею охарактеризовать его с точки зрения минералогии. После нескольких других вопросов он сказал, что собирался задать ей вопрос о биноме Ньютона, но передумал, поскольку сей предмет неведом большинству его коллег». Студентка спокойно отвечала на вопросы, нередко выказывая превосходство в знаниях над своими экзаменаторами. Когда еще один профессор задал вопрос по истории искусств, Доротея вежливо заметила, что не включила эту тему в свое резюме и, таким образом, ее не должны по ней экзаменовать; тем не менее она ответила на заданный вопрос. Два часа спустя профессор, дотоле не проронивший ни слова, прервал коллег и заметил, что «уже 7:30, время заканчивать». Шлезер успешно выдержала экзамен.

Но наиболее радикальный разрыв с прошлым произошел в другой сфере: профессоров начали назначать в соответствии с их профессиональными достоинствами. Во многих университетах существовала рутинная практика, состоявшая в том, что профессорские сыновья со временем занимали кресла своих отцов, поэтому талантливые студенты могли надеяться получить доступ к заветной должности, женившись на дочери профессора. Однако к середине XVIII столетия реформаторы в Ганновере, а затем и в других местах стали отбирать и продвигать профессоров в зависимости от качества их опубликованных работ, и возникла общепринятая иерархия должностей. Бюрократы были недовольны, когда такой видный ученый, как Иммануил Кант, проигнорировал требования иерархии и отказался покинуть родной город, чтобы занять более высокое кресло в другом университете. К концу XIX века темпы преобразований достигли пика.

В эти годы интеллектуалы в университетах и за их стенами выпестовали новый миф, который Кларк называет романтическим. Они утверждали, что *Wissenschaft* – систематическая, оригинальная исследовательская работа, не замутненная предрассудками или авторитетом «голой» традиции, – лежит в основе всех академических достижений. Если университет хочет привлечь иностранных студентов, он должен назначать профессоров, которые оправдывали бы их ожидания. В больших университетах наподобие Геттингенского или Берлинского студенты получили возможность проводить



самостоятельные исследования и писать собственные диссертации, а не поручать это профессорам за дополнительную оплату, как было принято у их отцов. Правительство занималось поисками знаменитых профессоров и предлагало им высокие оклады и исследовательские фонды, а также стипендии для студентов. Сосредоточенность на *Wissenschaft* поставила долгосрочную конкуренцию между университетами на идеалистическую основу.

Между 1750 и 1825 годом утвердился статус научного исследования, равно как и другие институции, кажущиеся теперь «изначальными» и совершенно необходимыми: университетские библиотеки с достойным бюджетом на приобретение необходимых книг, большие здания, подробные каталоги; лаборатории; академические факультеты с их ассистентами и специальной дополнительной подготовкой. Такими же «вечными» кажутся нам и новые формы обучения: например, семинары, на которых студенты учатся путем подготовки докладов о своей исследовательской работе, подвергающихся критике со стороны преподавателей и коллег-старшекурсников. Передовые педагогические принципы отдают приоритет новизне и научным открытиям; культивируются методы, внушающие оптимизм, привлекательные для студентов всего мира. В XIX веке в Германии получили высшее образование примерно десять тысяч молодых американцев. Им прививалось убеждение, что в основе университетского образования лежит исследовательская работа. Вот почему мы до сих пор заставляем студентов-старшекурсников писать диссертации, а наши преподаватели-ассистенты пишут книги. Мультикультурный, «глобалистский» профессорский состав современного американского университета все еще воспроизводит модель преимущественно мужского и всецело христианского университета моммзеновских времен.

Кларк проводит читателя через все эти трансформации, год за годом и документ за документом. Он использует такие старые университеты, как Оксфорд и Кембридж, в качестве традиционалистского фона, на котором особенно отчетливо видны немецкие инновации. На протяжении почти всего XIX века Оксфорд и Кембридж оставались единственными в Англии университетами, и их преподаватели – которым было запрещено жениться – жили бок о бок со старшекурсниками в обстановке, имевшей больше общего с монастырем, чем с современным миром. Метод наставничества также почти не изменился, и эти колледжи были меньше озабочены воспитанием великих ученых, чем культивированием качеств «слуг общества», которые должны были пополнить ряды барристеров и духовенства. А XVIII век, видевший расцвет современной немецкой академии, был самой низкой точкой в развитии английского вуза; она была зафиксирована Эдвардом Гиббоном (человеком, исключенным из *Magdalen College* и ставшим величайшим историком имперского Рима) в запоминающихся, хотя и слегка преувеличенных, выражениях:

«Во времена моей юности сотрудники колледжа и монахи были достойными милыми людьми, которые расслабленно наслаждались



дарами основателя университетского фонда. Их время было заполнено рядом предусмотренных распорядком дня занятий; церковью и аудитория, кофейня и жилое помещение – и так до выхода на пенсию; усталые и удовлетворенные, они удалялись на покой, чтобы впасть в долгую спячку. Они с облегчением освобождали свое сознание от тяжелой необходимости читать, или думать, или писать: ведь в этом учреждении начальные ростки интереса к знаниям и работе ума удушались на корню».

Тем не менее даже в Оксфорде находились ученые и преподаватели, предлагавшие новаторские лекционные курсы; с другой стороны, и в новаторских немецких университетах было покончено далеко не со всеми «пережитками прошлого». Профессора продолжали читать лекции и проводить семинары. Академические церемонии проходили в установленном порядке; многое делалось для упрочения репутации того или другого университета – особенно с тех пор, как присуждение ученых степеней стало привлекать внимание газет. Кроме того, изобретались новые традиции, оказавшиеся для некоторых студентов не менее привлекательными, чем старые: этим тешились преимущественно молодые люди знатного происхождения, но среди них были и плебеи с социальными претензиями. У немецких студентов XIX века дуэли на шпагах и посещение организованных банкетов (наподобие того, на котором Марку Твену довелось увидеть Моммзена) пользовались большей популярностью, чем научные изыскания. Сам Твен был не меньше очарован живописным дуэльным ритуалом и тавернами Гейдельберга, чем проявлениями современного духа – *Wissenschaft* – в Берлине.

Сходным образом обстояло дело и с «кадровой политикой» вузов: хотя назначение профессоров стало более меритократическим, администрация столкнулась с непростой проблемой систематической формальной оценки профессиональных качеств профессуры. Кларк иллюстрирует эту проблему, пригласив нас сопровождать Фридриха Гедике, прусского министра, в его инспекционном турне, в ходе которого он посетил четырнадцать университетов; эта поездка имела место в июне-июле 1789 года – как раз в то время, когда во Франции разразилась революция. Если предшественники министра, причастные к управлению системой образования в XVI–XVII веках, задавали бы в сходной ситуации вопросы о характере и педагогических способностях местных профессоров (набирают ли они полную аудиторию? являются ли пунктуальными? не фамильярничают ли со студентами?), то Гедике организовал настоящий «смотр исследовательских талантов» в академическом мире, поскольку в это время государства соревновались между собой за привлечение в вузы одаренных исследователей.

Например, в Геттингенском университете, служившем полигоном для испытания разного рода инноваций (хотя этот вуз просуществовал к тому времени всего полстолетия), обнаружилась интересная аномалия. Молодые профессора сохраняли верность своим креслам, несмотря на не слишком высокие официальные оклады,



игнорируя более выгодные предложения, поступавшие извне. Как выяснилось, руководство университета отдавало предпочтение тем преподавателям, основные научные работы которых были еще впереди, и доплачивало им «втемную», так что молодые преподаватели зачастую получали более высокую зарплату, чем старые. Неудивительно, что академические работники Геттингена старались в процессе общения с министром «замять» тему заработной платы, и Гедике был вынужден получать нужные ему сведения «скорее от смысленых и хорошо информированных студентов, чем от профессоров».

Гедике задавал острые, принципиальные вопросы, но ему приходилось, по необходимости, полагаться в своих выводах на суждения специалистов, с которыми он беседовал. В своем отчете он чрезвычайно высоко оценил деятельность Христиана Готтлоба Хайне, специалиста по античности, который сделал больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы Геттинген превратился в исследовательский центр мирового уровня. Однако министру приходилось следовать форме, и многие его оценки сводились к архаичной характерологии (тот или иной профессор описывался как «робкий», «склонный к ипохондрии» или «очень мрачный и мизантропически настроенный») или к рассказу об эксцентриках, задававших тон на некоторых факультетах. В основном Гедике и его коллеги собирали академические сплетни и передавали их своему начальству. В результате люди, принимавшие решения о новых назначениях, опирались не только (а зачастую и не столько) на рациональные критерии, основанные на беспристрастном изучении профессиональных качеств кандидата, но и на то, что о нем «говорят» в тех или иных кругах. Подобные процедуры хорошо (слишком хорошо!) знакомы каждому, кто имеет опыт участия в сегодняшней академической жизни. Комиссия проводит заседание по обсуждению найма новых профессоров, имея на руках множество досье, заполненных сплетнями (которые ныне приняли форму «технических отчетов») относительно того, как кандидаты зарекомендовали себя, работая в других университетах. Затем взвешиваются аргументы в пользу того или иного кандидата с учетом денег, которые потребуются, чтобы его привлечь, хотя ни один член такой комиссии не обладает достаточной компетенцией, чтобы оценить работу обсуждаемого кандидата по существу. Решающие выводы делаются на основании таких зыбких критериев, как Curriculum Vitae, рекомендательные письма и сплетни (в основном о связанных с претендентом скандалах), победа достается «по очкам».

Как показывает Кларк, оценка профессоров – это всего лишь один из аспектов более серьезного феномена. Университеты являются странными и подверженными внутреннему раздраю местами, потому что они представляют собой «палимпсесты», вобравшие в себя наслоения старого и нового, архаики и современности. История университетов соответствует веберовскому нарративу об этапах рационализации, но она также демонстрирует и ограниченные



возможности такой рационализации. Моммзен, при всей его современности, писал на элегантной, ясной и точной латыни, как и гуманисты эпохи Возрождения, и наслаждался традиционными академическими церемониями. Современные вузы искренне стремятся отыскать лучших преподавателей и ученых – тех, кто работает в своих областях на переднем крае развития науки, – но они хотят при этом сохранить традиционные аспекты университетской культуры и, подобно своим учителям, с важностью носить мантии. Они надеются, что некая не поддающаяся определению комбинация этих качеств привлечет в их вуз наилучший контингент семнадцатилетних абитуриентов.

В конечном итоге Кларк так и не раскрывает главного секрета: каким образом профессора (эти странные существа, шествующие в одеяниях, придающих им сходство с летучими мышами) обретают внутреннюю харизму – в противовес официальному авторитету, придаваемому «креслом», титулом и другими «материальными практиками», на которых сосредоточено его исследование. Ведь, что там ни говори, харизма не поддается редуцированию; талантливый профессор может «зажечь» аудиторию исключительно силой своего интеллекта и личности; но это как раз те качества, которые хуже всего поддаются формализации, оседающей в разного рода документах и отчетах. Однако Кларк тонко и пронизательно раскрывает по крайней мере один аспект академической харизмы, а именно – роль аскетизма в создании ауры величия. У Моммзена, с его героическим самообладанием и самоотверженностью, было много предшественников. Корни академического аскетизма следует искать, разумеется, в монастырской предыстории университета. Гади Альгази (Gadi Algazi), израильский историк, показал, что, хотя немецким преподавателям, в отличие от их английских коллег, начиная с XV века дозволялось жениться и обустраивать семейные гнезда, они были вынуждены снова и снова доказывать, что большие дома нужны им исключительно для поддержания благоприятных условий для работы, а женились они якобы только ради того, чтобы было кому содержать эти дома в должном порядке.

В XVIII и XIX столетиях профессорский аскетизм переместился из дома на рабочее место, где принял новые формы – преимущественно творческих достижений поистине эпического, а иногда и эксцентрического свойства. Идеальный профессор сегодняшнего образца обладает признаками усталости и духовного истощения: величие ума и глубина эрудиции, как и красота, могут быть достигнуты лишь путем страдания. Христиан Готтлоб Хайне, поднявший на новую ступень формальное изучение визуальных искусств античности, был также смотрителем библиотеки Геттингенского университета, одной из самых больших и наиболее систематизированных в Европе, и опубликовал описание более восьми тысяч книг, которые он приобрел и каталогизировал для университетской коллекции. Ученик Хайне Фридрих Август Вольф вошел в легенду сходным образом. Его известность как ученого зиждется на опубликованной



в 1795 году книге «Пролегомены к Гомеру»; это было фантастически успешное издание, хотя вышел в свет лишь первый том исследования, и тот был написан по-латыни. В этом бестселлере XVIII века утверждалось, что «Илиада» и «Одиссея» изначально возникли как совокупность устных поэм, которые были впоследствии собраны и скомпонованы поэтами-учеными эллинистической Александрии. Но Вольф стал знаменитостью не столько вследствие своих научных заслуг, сколько благодаря счастливому сочетанию честолюбия и самоотверженности. Вольф настаивал на том, чтобы его зачислили не на теологический, а на филологический факультет, хотя по окончании вуза гораздо легче было найти работу священнику, чем ученому-филологу. Хайне показал ему стол, заваленный письмами от школьных учителей, которые «пишут мне, что рады были бы повеситься от нищеты», но Вольф стоял на своем. Он заменил обычную для студентов того времени пышную шевелюру на парик – с тем, чтобы не тратить драгоценные часы на парикмахера; обходил стороной таверны, где бузили студенты, и салоны, где они встречались с молоденькими женщинами; и даже перестал посещать лекции, когда пришел к выводу, что может более продуктивно расходовать время, читая рекомендованные книги. Он бесил своего преподавателя тем, что читал с опережением и забирал из библиотеки все книги, которые нужны были Хайне для подготовки к лекциям. Но вскоре его рвение было вознаграждено: он был назначен профессором в Галле в возрасте двадцати четырех лет. Этот блистательный, самоотверженный нонконформист парадоксальным образом стал образцом для подражания для следующих поколений студентов.

Неудивительно, что биографы Моммзена, характеризуя его неустанную деятельность, не забывали добавить через полвека после его смерти: он был не только творцом истории в разных смыслах этого слова, но и в жизни придерживался идеалов аскетизма; это все еще имело значение.

И сегодня академическая харизма в ее гуманитарном аспекте (равно как и связанный с ней идеал аскетизма) сохраняет свое – немаловажное – место в жизни университетов. Ученые всех специальностей продолжают получать привилегии за свою «продуктивность» (академический эвфемизм для обозначения гиперболического тщеславия), а студенты продолжают с ними в этом состязаться. Инвестиции спонсоров идут на углубленное и самоотверженное – ногами напролет – изучение предметов, которые не понадобятся выпускникам в будущей жизни ни при какой погоде; годы спустя они вспоминают на «традиционных сборах» об интенсивности этого опыта – и это часто сопряжено с чувством отчаянной ностальгии: им трудно поверить, что они были способны на такие подвиги. Короче говоря, университет никогда не был всецело отлаженной, эффективной корпорацией. Он больше напоминает армию, организацию, являющуюся в одно и то же время радикально современной – и укорененной в глубокой, красочной и патетической традиции. И очень



нелегко ответить на вопрос, какую долю мистики можно изъять из употребления, не нанеся тем самым непоправимого ущерба всей институции. Если целиком и полностью рационализировать харизму, останется ли она харизматичной?

Кларк помогает нам понять, почему современный университет кажется таким странным, неустойчивым конгломератом новизны и консерватизма, но по прочтении его книги остается ощущение некоторой неудовлетворенности. Пускай Моммзену нравилось думать о себе как о капиталисте-флибустьере, но он получал деньги от государства. Сегодня же, напротив, общественное мнение мобилизует университетскую администрацию на поиски других источников финансирования, вследствие чего профессоров и учебные программы начинают оценивать в категориях эффективного маркетинга. Внешние спонсоры предпочитают оказывать поддержку тем дисциплинам, которые обещают стабильные практические результаты (например, биологическим и количественным социальным наукам), а сами университеты поддаются соблазну вкладывать деньги в работы, которые принесут им как можно больше патентов. Новый режим работы, возможно, благоприятен для достижения конкретных результатов, но трудно себе представить, что при подобном стиле менеджмента останется свободное пространство для таких эксцентриков, как Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, и вообще для фундаментальных долгосрочных исследований типа тех, которые они проводили. Что же касается гуманитарных дисциплин, когда-то служивших ядром высшего образования, то они сегодня не выглядят столь привлекательными (в том числе и для спонсоров), как во времена Моммзена, что вполне определенным образом сказывается на зарплате и условиях работы профессоров-гуманитариев. Те неэффективные и парадоксальные методы управления, которые, при всей их «сумасбродности», сделали американские университеты предметом зависти для всего мира, стремительно меняются. Трудно сказать, какое продолжение будет иметь история, рассказанная Уильямом Кларком, и с каким чувством прочтет ее следующее поколение – с иронией или с ностальгической тоской по невозполнимой утрате.